Гареев Зуфар 15.12.93

Иронический тупик

Лит. газ. – 1993. – 15 дек. – с. 5.

С Зуфаром ГАРЕЕВЫМ беседует корреспондент "ЛГ" Мария СЕТЮКОВА

Хотя имя Зуфара Гареева у многих на слуху, лишь немногие, вероятно, прочли его рассказы, повести, пьесы. Последняя книга писателя – "Мультипроза" – могла бы дать основание говорить о Гарееве как о человеке, в центре мироздания которого восседает его величество Абсурд... Если бы не другая, совсем другая его проза.

– В аннотации к одной из ваших книг вы обозначены как представитель "другой прозы". Это действительно так?

– Вообще–то получилось глупо. Эта книжечка, "Про Шекспира", вышла в свое время в "Московском рабочем", где мне пришлось самому писать аннотацию, и обязательно надо было про себя сказать что–нибудь страшно узнаваемое. Например, "представитель "другой прозы". Ежу тогда станет понятно, о чем пойдет речь. Другая так другая. Какая разница! Я вообще к этому не отношусь серьезно, никак себя толком не могу называть.

– Тем не менее в программной статье Сергея Чупринина (откуда и берет начало это понятие) в качестве "типичного представителя" вы упомянуты неоднократно. Для времени написания статьи – 1989 год, когда еще издавалась в изрядном количестве литература соцреализма, – такая постановка вопроса была актуальна. Тогда действительно была собственно реалистическая проза – и *другая*. А сейчас, как вам кажется, есть эта "другая проза"?

– В свое время я написал, не помню уже, в какой статье, что вся проза стала абсолютно *другая*, что прежней, "недругой" практически не осталось. Конечно, изначально это был весьма условный термин. С таким же успехом нас можно было назвать "третьим направлением" или чем–нибудь в этом духе. А сейчас надобность в такого рода обозначениях просто, по–моему, отпала. Сегодня я не понимаю толком, что такое постмодернизм, абсурд, неоклассицизм. И, употребляя эти термины, мы просто–напросто окончательно в них запутываемся. И путаем других. Я вообще за то, чтобы ничего никак не называть. А если называть, то очень просто – плохая проза или хорошая, и почему хорошая, и почему плохая. Вот и все, по–моему. Так будет проще.

– Многие ваши вещи довольно злые... Как вы вообще относились к простому "советскому" человеку, когда о нем писали?

– Тут двойственное отношение. Этого простого человека с его неистребимой любовью собираться в толпу я не принимал, поскольку всякий писатель – индивидуалист и ему, условно говоря, всякая толпа ненавистна, какая бы она ни была – советская, итальянская, грузинская – не суть важно. Так что, с одной стороны, всегда сохранялось презрение к толпе. Но вместе с тем с другой – постоянно присутствовала жалость... С третьей же было какое-то абсолютное понимание. Вот, например, старушки в "Мультипрозе". У нас ведь традиционно каким был взгляд на пожилого человека – что он несчастный, такой старенький–старенький и ему надо помогать, а мне кажется, что моя "индивидуалистическая" злость давала мне возможность иначе посмотреть на жалкую, бедную нашу жизнь. В жизни я жалел старушек, всегда им помогал, сумки носил, уступал место, но когда брался за перо – писал совсем о других старушках, тех, которые полны жизни, энергии, злобы, непримиримости. Я привык наблюдать жизнь везде – в том числе и на помойках. Она, эта жизнь, там такая необыкновенная, очень энергично текущая, инвалиды все такие не при смерти, а активные и со страшной силой борются за жизнь, за кусок хлеба, да еще с колбасой. Таких вроде бы и жалеть как-то неудобно. Жизнь, даже в самых отвратительных, неприглядных и отталкивающих проявлениях, всегда вызывала во мне большое любопытство.

– Может быть, ваши ощущения похожи на чувства ребенка, когда ему говорят: не оборачивайся, не смотри на дяденьку, у дяденьки ручки нету, ножки нету? А ребенка все равно тянет посмотреть на уродство... А вам никогда не хотелось заниматься "чистым искусством"?

– Понимаю, о чем вы говорите. Сейчас мне кажется, что тогда я хотел в какой–то степени отразить реалии нашей жизни, ясно понимая, что если я начну смотреть в какой–то традиционной плоскости – вот, дорогие господа, какая жалкая жизнь, какие несчастные, замученные люди, – то это уже было, было. Но и пройти мимо я не мог. Мне казалось, что всю эту неустроенную жизнь надо включить в контекст большой культуры. Но как включить – было непонятно. В определенном смысле то, как я писал последнее время, – это стилизация под Гоголя. А в каком–то смысле – что–то абсолютно свое, я бы сказал – "игровое".

– Наряду с абсурдными, "игровыми" рассказами у вас есть и сугубо реалистические. Это шло последовательно или параллельно?

– В том–то и штука, что это все время шло параллельно. Почему я все время испытываю эту раздвоенность? Если я придумаю какой–нибудь серьезный рассказ, условно – новомировский: "Когда кричат чужие птицы", такой "щипательный", понятный всем, о жизни, о любви, о тепле, – то тут же напишу (пусть даже заведомо в стол) какую–нибудь гнусность, вроде пьесы с названием "Мандавошка". Все время происходит какая-то игра – безграничная, бесконечная, безобразная. Но сейчас мне кажется, что я этого второго своего творчества начинаю стесняться, этого самого "игрового",чересчур ироничного момента – и хочется целиком уйти в первое. Есть длинные юбки, есть мини, есть платья в горошек и цветочек, все разное и все симпатичное, но в конце концов приходишь к пониманию того, что все-таки существует классическое черное платье, так же как существует классическая женственность. И точно так же есть, вероятно, какой-то естественный универсальный слог, которым можно охватить все явления жизни. В смысле формы этот слог может показаться более тусклым, но он, несомненно, совершеннее.

– Евгений Попов заметил, что у вас, "как и у всех, можно вычислить "влияния". В числе наиболее "влиятельных" назывались Беккет, Кафка, Ионеско. В "Мультипрозе", по-моему, есть что–то от Платонова. Как вам самому кажется, чье влияние вы на себе испытываете и от чьего вам хотелось бы освободиться?

– Сейчас, когда мне 37, я сильного влияния ни с чьей стороны не чувствую. А вот, например, в 17 – 18 лет я очень сильно хотел "освободиться" от Льва Толстого, у меня был огромный роман, переполненный "толстовскими" фразами, который я впоследствии сжег. Потом, лет с двадцати, после армии, я дико хотел освободиться от Томаса Манна. Всю жизнь хотел освободиться от Гоголя. Платонова, Зощенко... Вероятно, я просто поздно их прочел. Но их влияние на меня незначительно. Вот, пожалуй, и все. Самое главное, конечно, Гоголь. От него я хочу освободиться всю жизнь – и не могу.

– Существует такая точка зрения, что писателям "другой прозы" хорошо жилось, когда их не печатали. Привлекательным казался сам факт запрета, а сейчас все разрешено, и ненормативная лексика чуть ли не в каждом втором романе...

– Новые времена на мне никак не отразились. Разве что выпустили "толстую", по моим понятиям, книгу прозы Зуфара Гареева, но тут же и пустили под нож, мотивируя это нежеланием заниматься ее продажей. А может, она оказалась плохой или слишком хорошей... Слава Богу, что небольшую часть тиража я успел раздарить тем людям, чье мнение для меня интересно и важно... Писатель всегда остается человеком глубоко индивидуальным, он ищет свое. Сегодняшнее наше состояние, скорее, просто совпало с моим личным тупиком. Я никогда не был политизированным человеком, никогда впрямую не выступал против системы и в этом смысле плавно перешел из застоя в перестройку. Сегодня жизнь стала тяжелее, надо все время думать над тем, где добывать деньги, чтобы прокормиться. И писатель во мне стал занимать совсем маленькое место. Это что–то вроде хобби. Собственно, как оно давно уже есть за границей.

– По поводу добывания денег. Долгое время вы были дворником. Ваше поколение литераторов очень стильно начинало свою сознательную жизнь – в качестве дворников, сторожей, каменщиков, рабочих котельной и т.д. Это, мне кажется, очень "как все" и – скучно. Вам никогда не хотелось заняться каким–нибудь более профессиональным, что ли, делом, близким вашему гуманитарному складу – например, чтением лекций по литературе? И почему вы теперь не дворник?

– На самом деле я дворник серьезный – по убеждению, им в душе и остаюсь. Зимой все равно буду чистить улицы, потому что очень люблю двигаться, люблю свежий воздух. Во мне есть какая–то маниакальная потребность расходования физической энергии. Только когда движение исчерпано, я впадаю в состояние раздумья. А лекции читать – сохрани Бог! Совсем это не мое. Сейчас я не дворник, но являюсь кем–то вроде начальника отдела распространения газеты "Еще".

– Однако эротики, порнографии, натурализма, даже поцелуев очень немного в вашей прозе: вас в жизни это не очень волнует?

– Трудно сказать. Об этих вещах, мне кажется, лучше писать после пятидесяти... По-моему, все мы – жертвы своего времени, и хотелось бы больше сексуальной раскованности. Есть ведь какие–то совершенно искренние вещи: секс, голод, холод, тепло, вода, воздух... Это вещи, язык которых – на уровне атомов.

– Сейчас много говорят о "голубой волне" в литературе. Может быть, мне показалось, но в рассказах "Каникулы", "Аленький цветочек" это есть. Случайность?

– Я не думаю, что это случайность, какая-то "голубая волна" действительно все-таки идет. Андрей Битов тоже заметил эти мотивы в "Каникулах". Мне хотелось бы, чтобы было так; если рассказ прочтет обыкновенный читатель, непосвященный – пусть он увидит в нем дружбу, какую–то душевную привязанность. Если же читатель окажется искушенным – пусть он увидит там привязанность юноши к юноше более глубокую. Вообще для меня эта тема довольно деликатная. Какие-то нетрадиционные отношения, в том числе и сексуальные, меня интересовали всегда. Особенно сложные любовные треугольники. Кроме этого, безусловно, существует еще множество "любовных" мотивов, на сегодняшний день привлекательных для меня, – например, стареющая дама, домогающаяся молодого человека.

– Но, очевидно, о таких тонких душевных проблемах нельзя писать тем своеобразным языком, каким написана "Мультипроза"? Ирония здесь не совсем уместна?

– Не совсем так. Ирония очень даже возможна. Открывается какое–то огромное чистое пространство смеха. Вспомните "Сатирикон" – там есть все, только нет ничего серьезного. Если выйти на этот уровень ощущений, можно рассказать обо всем на свете.

– Ощущение "Сатирикона" – это ощущение античности, радости жизни. Как вам кажется, она есть в ваших книгах?

– Есть убожество. А если и попадается случайная радость, то она какая–то болезненная. Но мне кажется – вот поживу я еще немного и смогу передать эту радость жизни, легкое и светлое мироощущение. Я замечаю, что невыносимо тяжело было жить в 15 лет. Очень тяжело в 20 – 25 лет. А потом пошло легче. После 35 кажется, что абсолютно все возможно. Иногда думаю: пройдет еще года три–четыре – и я войду в гармоническую полосу жизни и увижу некий золотой свет.

– Писателям, художникам, людям творческим заказано жить счастливо, сытно и богато. Бедность и несчастная любовь всегда были классическими стимулами к творчеству. А как у вас?

– Многие несчастья нельзя "заказать". Несчастная любовь или есть – или ее нет. Когда много несчастий в жизни, когда ты весь состоишь из пружин и весь напряжен, тогда хочется только одного: чтобы это состояние как можно быстрее кончилось. Это лето, да, собственно, весь этот последний год я жил спокойно и хорошо. Курил дорогие сигареты, пил отличный кофе, играл в теннис. И мне совсем не хотелось писать. Зачем, если на душе спокойно? Но проходит какое–то время, и что–то начинает скрести и позванивать. И тогда хоть немного, хоть полчаса в сутки – с двенадцати до половины первого – пишешь абзац–другой!.. Как бы ни была весела жизнь – страдания и трагизм все равно до конца не оставляют. Сейчас я думаю: зачем этот трагизм подгонять или душить? Пусть все идет само собой.

– Как, вам кажется, выглядит читатель книг Зуфара Гареева?

– Понятия не имею.

– Но все же вам, вероятно , приятно было бы узнать, что ваши книги читают, раскупают, ваше имя год от года становится все более популярным?

– В общем–то мне все равно, и знаете почему? Я привык. Когда уже стали более или менее заметны Попов, Ерофеев, Толстая, мы по-прежнему оставались в тени. Они дружно шли против официоза. И у них был свой особый читатель – антиофициозный. Мы же, те, кто моложе лет на десять, соответственно и начинали позже, и изначально не представляли, для кого мы пишем. Для узкого круга своих знакомых? Коллег–писателей?.. Мы как бы родились без читателя. И я постепенно привык к этому и не ощущаю сейчас сильной потребности в нем.

– Но это не означает, что вы к своим потенциальным читателям относитесь с пренебрежением, исключительно как к толпе?

– Разумеется, нет. Если вдруг объявится какой–нибудь читатель, я с удовольствием его привечу и подарю ему свою книжку.

– В самом начале повести "Аллергия Александра Петровича" вы рассуждаете о том, что мужчины не слишком хороши. И совсем не то – женщины. Они – одухотворенные существа "внутри себя"... Как вы вообще относитесь к женщинам? Они действительно лучше, чище, интереснее?

– Это для меня очень важный вопрос. На самом деле женщины чище, интереснее, приятнее, чем они сами о себе думают. Я люблю Женщину воображать. В жизни я к женщинам отношусь очень романтически. Стараюсь не замечать каких-то обыденных вещей. Иногда мне нравится мужчину вообразить женщиной, наделить его какими–то женскими качествами, не отнимая при этом у него сугубо мужских. Это очень интересно.

– Жизнь для вас тоже творческая область? Насколько тесно переплетаются повседневность и творчество?

– Нужно сказать, что у меня две трети жизни прошло как бы мимо. Время от времени я слышу от окружающих: прожил жизнь и тяжелую, и, с определенной точки зрения, интересную. А для меня такие факты, как тяжелое интернатовское детство, служба в конвойных войсках, оказались очень незначительными.

– Настолько занимала внутренняя жизнь, что вы просто не замечали внешней – холода, голода?

– Холода и голода я никогда не замечал. Это уж однозначно. Другое дело, что я, может быть, не замечал и того, что называют обычной жизнью.

– Сложнее или проще стало вам сегодня печататься?

– Примерно так же, как и было. Один из недавних примеров. Написал рассказ для "Дружбы народов". Такой милый рассказ в стиле XIX века. Солдаты обнимаются, дарят друг другу цветы. В каком-то смысле это пародия на Е.Харитонова, в каком-то – издевательство над своей натурой, которая привыкла эстетизировать "наоборот", то есть не то, что нужно. Редакция рассказ отвергла, мотивируя это тем, что раз он об армии – значит, там должны быть грязь, стройбат и т.д. Мне говорят: "Старик, ну нельзя так, не пришло еще это время". Но у меня есть с в о е внутреннее время, которому по большому счету безразлично, совпадает оно или нет с временем тех, кто долгие годы "формирует литературную политику". Все очень просто: если ты пишешь сегодня и тебе действительно есть что поведать миру – значит, твое время так или иначе пересечется с тем, которое "на дворе".

Фото Владимира БОГДАНОВА